

ПИСАТЕЛЯМ моего поколения, да и не только моего, а и старших поколений, и младших, вообще тем, кто лично знал Самуила Яковлевича Маршака, очень повезло в жизни. Потому что читатели имеют представление о нем как о замечательном детском поэте, как об удивительно переводчике, эпиграмматисте, плакатисте; как о прозаике, драматурге, теоретике и критике детской литературы: как о замечательном, непревзойденном редакторе — но только те, кто знал Маршака лично, знали Маршака-собеседника, а эта грань его таланта была, быть может, одной из самых сверхающих, не потому, что такого собеседника, как Маршак, не было, нет и не будет. Не потому, что другие не могут поговорить, а потому, что это не будет разговором с Маршаком. Почти за 40 лет нашего знакомства он не сказал ни одной проходной фразы, так, ни о чем; он всегда говорил о литературе, о деле. Этот разговор о поэзии начинался, когда вы вешали в передней пальто, и кончался далеко за полночь. И не потому, что у Маршака было много свободного времени, а потому, что он торопился внушить вам свои мысли и превратить вас в своего последователя, ученика.

Как только вы входили в

ем себя, что мы Пушкина очень хорошо знаем,— все вранье! Выучили хрестоматийный пяточок наизусть и гордимся... Ты, например, знаешь Пушкина стихотворение «К вельможе»? Наизусть? Не знаешь? Очень стыдно. А я знаю.

С этим стихотворением связана одна замечательная история. Однажды я пришел к нему. Это было в сентябре сорон первого года. Он написал несконченного строки — подпись и кавычку Курсыникова, полагая, что «Правду», освободился и тут же стал меня вызывать. Я к нему пришел. Было, наверное, половина одиннадцатого. Он жил около Курского вокзала. Через некоторое время объявили воздушную тревогу, и самолеты противника пошли пикировать на Курский вокзал, и что тут стало делаться на небе и на земле, вообразить невозможно. А он никуда не пошел, остался сидеть в своих низких кожаных креслах и тихонько читал стихи:

— От северных оков
освобожденный мир,
Лишь только на поля,
струясь, дохнет вефир,
Лишь только первал
позеленеет липа,
К тебе,
приветливый потомок
Аристиппа,
К тебе явлюся я...

Что ты все в окно смотришь, ты музыку Пушкина слушаешь, а не этот грохот чудовищный!

Нет, это был поразительный человек! 50 лет он переводил стихи Уильяма Блейка и умер в убеждении, что не довел пере-

А в «Еже» и в «Чине» было очень славно. Он туда только иногда заходил. Как-то не совсем довольно поглядывал, как его продолжатели и ученики Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Николай Олейников ведут это дело. Говорил, что журнал терпит своеобразие. На самом деле журнал был великолепный. Мне казалось, что происходит какая-то ошибка, что я получаю зарплату, вместо того чтобы платить за то, что я работаю в «Еже» и «Чине». Это было одно удовольствие.

В 12 часов являлись все члены редколлегии, садились вокруг стола, который занимал почти всю комнату, и усаживались, на какую-то тему будут писать. Каждый, закрывав рукой, писал свое, хохотал, писал, потом бросал это направо. Слева получал лист, хохотал еще громче, прибавлял свое, бросал направо, слева получал лист... Когда все листы обходили стол, читали все варианты, умирали со смеху, выбирали лучший вариант, и все начинали его обрабатывать. Придут художники, оставят картинки — и остаются. Придут поэты, оставят стихи — и тоже остаются. Вот уже окончен рабочий день, в коридорах темнота, а у нас свет, хохот и словенно праздник. Журнал выходил всегда вовремя и был интересным. На него кидались и дети, и взрослые. Я недавно смотрел перечень слов, которые непонятны пионеру: «Городской лова». И один мальчик нари-

— А ты что тут делаешь? Я говорю:
— Я здесь служу.
— А в чем твоя служба?
— Я пишу протоколы.
— Прекрати это делать. Ты этого делать не можешь. Пойдем со мной.

Я говорю:
— Меня выгонят.
— И хорошо сделают. Я устрою тебя на другую работу. У вас тут кто-нибудь есть другой начальник, кроме Маршака? Вы? Здравствуйте! Мы не знакомы с вами. Моя фамилия Толстой. Я хочу унести вашего секретаря. Он не может писать протоколы. Он неграмотный.

И вдруг начальник говорит: — Товарищ Андроников, вы нужны Алексею Николаевичу. Я прошу сейчас же последовать за ним. Он уже уходит, и можете сегодня не возвращаться. Протокол мы будем вести без вас. А завтра, если вы будете нужны Алексею Николаевичу, можно ограничиться телефонным звонком.

Я сделался свободным человеком, пошел за Толстым, и те полтора дня, которые я провел в тот раз в его обществе, были так великолепны, что я не нахожу красок и слов...

Из этого визита Толстого в Детгиз у меня возник маленький устный рассказ под названием «Действительный случай, про-

вится — в этом я был совершенно уверен. Потом, когда уже я поселился в Москве и женился и когда Толстой тоже поселился в Москве, он постоянно звонил мне по телефону и говорил:

— Ираклий, во вторник возьмешь жену, приедешь к нам на дачу в Барвиху. У нас будут Нежданова и Голованов, которые тебя не слышали, Алиса Коонен и Таиров, которые слышали, но ты от них преступно утаил рассказ про меня и про Васю Качалова. Кроме того, будут два высотника и два подводника, которые вообще о тебе никогда не слышали. Рассказывать будешь после супа. До этого пить ничего не смей, иначе я разобью боржомскую бутылку о твою дурацкую башку. Когда будешь меня показывать, не делай мхатовских пауз, я их у тебя ненавижу.

Я был убежден, что ему очень нравится, как я его показываю, но когда он поехал однажды на предвыборную кампанию, его впервые записали на шоронофон — предшественник нашего магнитофона. И вечером эту речь транслировали по Новгородской области, где он баллотировался. И он, услышав свои слова в репродукторе, спросил:

— Это кто говорит?
— Вы, Алексей Николаевич.
— Этого не может быть, это абсолютный Ираклий. Если бы

и я жил в Москве, но и в Москве я не показывал Маршака в кругах Маршака.

И ВОТ однажды я выступил в московском издательстве детской литературы на каком-то предпринятом концерте. И получил записку: «Пожалуйста, Маршак». Но это же было издательство детской литературы! Я убрал записку в карман и стал рассказывать что-то другое. Тогда Кассиль, который оказался автором записки, закричал:

— Слезай, очисти площадку! Тут много народу, которые могут поговорить без тебя, если не хочешь показывать того, кого просит Показки Толстого и Маршака!

Я деморализовался и поехал. На следующий день Маршак приехал в издательство, редактора увидели его и, закрывшись рукавами от смеха, побежали обратно по коридору. Он прошел в кабинет директора. А директор-то был на этом посту 9 дней. Не помню, откуда пришел, не помню, куда девался, не помню фамилии. Но, видно, это был очень тонкий дипломат. Потому что, увидев Маршака, он сказал:

— Ну, Самуил Яковлевич, теперь уж с вами всерьез никто не станет говорить. Так и кажется, что это вы дразните Андроникова.

наверное, сказал: «Ступай к черту, Толстой. Ты как слон в посудной лавке».

— Но ты же этого не говорил!

— Но ведь и ты не фотограф. Ты же претендуешь быть журналистом. Так ты уж рассказывай правду отношений. А дальше что?

Я показал.
— Не знаю, как быть, просто не знаю Толстой у тебя замечательный. Просто какой-то фламандский тип. Сочный, достоверный, живой. А я у тебя не получился. Знаешь, может, попробовать сделать из этого рассказа монолог Толстого?

— Ну что ты, — говорю. — Весь смысл исчезнет! Здесь важно, как ты замечательно вышел из положения.

— Нет, знаешь, все-таки непохоже. Тебя это должно огорчать. Ты же человек со слухом. Неужели из нашей многолетней дружбы ты усвоил только голос петуха, да еще какого-то придуренного петуха? Как тебе самому кажется — похоже?

— Мне кажется, что похоже. Иначе я не показывал бы.

— Но люди-то что говорят?

— Говорят, что похоже.

— А ты думаешь, у тебя нет своих подхалимов? Вот они и стараются. Ты знаешь, как в Древней Греции решали споры? Если сами не могли решить, выходили за ворота, останавливали путника, просили его решить спор, его устами и говорили боги. Он и решал, кто прав, а кто — нет. Я уверен, если бы сюда вошел человек совершенно непредубежденный, он бы сказал, что это очень непохоже и неинтересно.

В это время зазвонил телефон. Маршак встрепенулся:

— Стоит ли брать трубку, прервут ведь очень важный разговор, от которого зависят наши отношения.

— Ну, не бери.

— Нельзя не брать. Я послал статью о детской литературе в «Известия», этому Андроникову. Между прочим, очень хороший человек, очень благородный. Настоящий литератор, настоящий товарищ. Он очень много нам помогает. Я должен взять трубку. Вдруг он?

— Ну, возьми.

— А вдруг — не он?

— Ну, тогда извинись и скажи, что не можешь разговаривать.

— А вдруг какой-нибудь дурацкий разговор отвлечет? Я все-таки попробую взять. Алло, кто говорит?.. Иона Иосифович, здравствуйте, голубчик! (В мою сторону: Это Андроников.) — Я послал вам статью, миленький. Получили, дорожку?.. Спасибо вам, милый... Очень обязан вам, голубчик... (Мне: Прочел уже!) — Вам понравилась статья?.. Это очень приятно, вы сможете продолжить ее к нашему заведующему отделом. Он ведь, говорят, очень редко читает статьи вообще... Что?.. Да что вы! — (Мне: Прочел уже!) — Ну, и что говорит?.. То есть как же неважно... Ах, послал уже к ответственному? Он когда сможет прочесть?.. Тоже прочел? Какой вы молодец! Вы наш настоящий друг. Вы нам всегда помогали. Еще в Ленинграде. Мы очень все вас уважаем. И любим. Вы настоящий человек. И как вы думаете, когда ответственный прочтет?.. В номер поставим?.. На какой день?.. (Мне: На завтра!) — Ну, это просто можете нас поздравить. Поздравить не только со статьей, а с настоящим другом, который у нас есть... Как прошла статья?.. Целком?.. Ничто не вызвало возражений?.. Что?.. Сколько?.. Какое?.. Об этом не может быть речи. — (Мне, горестно: Сократили 12 строк.) — Сокращенная статья не пойдет. Скажите, какие строки сокращены?.. Что значит — мелочь?.. (Мне: Окажется, сокращены «Туча по небу идет. Бочка по морю плывет». Без этого статьи нет.) — Алло, товарищ Андроников. Я прошу вас: возьмите статью и восстановите выброшенные тексты. Я не буду разговаривать без этого. Я прошу вас... Что значит — статья в другой комнате? Походите в другую комнату и сейчас же принесите...

— Андроников.
— А... У Маршака в гостях сидите?
— Нет, у себя дома.
— То есть как у себя дома?!

Я разговаривал с Маршаком.
— Нет, вы разговаривали со мной.

— Ерунда, у меня записная книжка открыта на букву «М».

Я звонил Маршаку и разговаривал с ним.

— Я не знаю, куда вы звонили. Может быть, вы Маршаку звонили, но попали ко мне.
— Вы меня разыгрываете. Погодите, вы приходили к нам в «Известия» и показывали Маршака? Это действительно очень похоже. Но я никогда не думал, что это похоже в такой степени. Вы знаете, вы изображаете его еще лучше, чем он сам. Гениально! Это лучше, чем Маршак. Я умоляю вас, скажите еще хотя бы несколько слов.

Маршак говорит:
— Что ты так долго разговариваешь? Мне ведь о деле надо поговорить. Дай сюда трубку!

Я говорю:

— Ну погоди, дай мне поговорить.

— Дай трубку сюда! Товарищ Андроников, вы принесли статью или нет?

Я вдруг слышу, что в трубке заверещало... затрещало, каркнуло...

— Что вы хотите, черт побери? Вы принесли статью или нет? Я требую, чтобы вы восстановили выброшенные 12 строк... Что с ним, что он хохочет? Перестаньте хохотать, черт побери! В чем дело, чего вы хотите? (Ко мне: — Поговори с ним!)

Я беру трубку:

— Аах-ха-ха-ха-ха! Ой, боже мой, до чего похоже! Невероятно! Я позвоню сейчас нашего зава. Он умрет. Поговорите с каждым из наших сотрудников. Это потрясало хорошо.

— Дай трубку сюда. Дай сюда трубку! Товарищ Андроников, я не шутки шучу, а с вами говорю о деле. О литературе. Принесли статью или нет?..

Трубка завывала, как сирена. Маршак швырнул трубку:

— Вот видишь, что ты надеялся с твоими дурацкими изображениями!

Я говорю:

— А я ничего не изображал.

— Как не изображал?

— Так не изображал.

— А почему же он хохочет?

— Я не знаю.

— Ну, значит, ты меня разыграл?

— Нет, я тебя не разыгрывал.

— Погоди, в чем дело? Он принял меня за меня, или меня за тебя, или тебя за меня?..

Я говорю:

— Я ничего не знаю.

— Выходит, мы с тобой вдвоем его разыграли. Знаешь, что это, может, было бы весело, если бы речь шла не о деле. Попробуй позвонить ему и скажи, что пошутил.

Я говорю:

— Он теперь не поверит.

— Розалия Ивановна, будьте добры, поскорее соединитесь с «Известиями»... Господи, эта женщина создана для того, чтобы ходить медленно! Розалия Ивановна, очень вас прошу, сейчас же позвоните в «Известия» Андроникову, скажите, что у нас в гостях товарищ Андроников, что он пошутил.

Розалия Ивановна, секретарь Самуила Яковлевича, на десять лет старше его самого, необычайно медленно подходит к телефону, набирает номер «Известий» и со своим немецким акцентом говорит:

— Товарищ Антропов, з вами говорит Розалия Ивановна, секретарь Самуила Яковлевича...

В трубке раздается звук, напоминающий кораблекрушение у берегов Англии.

Маршак и обижен, и смеется.

— Он, кажется, подумал, что ты и Розалию Ивановну изображаешь. Дай трубку сюда. Товарищ Андроников, миленький, слушайте! Неужели у вас нет никакого воображения? Задайте мне такой вопрос, на который Андроников не может ответить, а я, Маршак, могу... Мы еще знакомы по Ленинграду, встречались в грозные и трудные времена... Не надо так дурачиться хохотать! Что, что?.. Погодите, я посоветуюсь. — Ко

Ираклий АНДРОНИКОВ

его комнату, он начинал читать вам свои новые стихи. Прочитав сейчас же передавал их вам, чтобы вы прочли их вслух, потом снова читал сам. Потом требовал, чтобы вы сказали свое неллицеприятное мнение. Спрашивал: — Какие строчки больше тебе нравятся, первые или последние?

Если вы называли первые — он, вспыхнув, говорил: — Почему первые?

Никогда нельзя было сказать, какие лучше или хуже, потому что он обижался за те строчки, которые вы обождали. Да, это было удивительно. Он обижался на эти замечания как-то мгновенно, но вообще ждал поощрения и критики.

Он читал свои стихи всем: читал молочники, читал телефонисту, который приходил чинить его телефон. Читал курьеру, который принес ему рукопись из издательства, читал детям во дворе, читал шоферу, читал поэтам, критикам и прозаикам по телефону. Он всем читал, и все замечания, даже если обижался, учитывал. Иногда, по-моему, даже в ущерб делу.

Так, например, у него в книжке про дири были замечательные строчки: «По проволоне дама идет как телеграмма».

Маяковский хвалил эти строчки, а он вдруг выбросил. Я спрашиваю:

— Зачем же ты выбросил такие замечательные строчки? Он сказал:

— В советском обществе минах не дам нет, и нечего детям морочить голову.

(Потом все-таки восстановил.)

Он был человек удивительный! Окончив чтение новых стихов, он начинал читать свои старые, потом замечательные переводы английских народных баллад, стихи Бернса, потом других поэтов, потом Пушкина. Читал глухим, сильным голосом, спокойно и просто, и обожался тонкости, которых вы и не слышали, даже если знали стихотворение наизусть. Потом начинался разговор о литературе. Это было бесспорно прекрасно, потому что он разбирали вещи не вообще, а раскрывал нам смысл каждой строки, каждого поэтического приема. Все поэты, да и вообще все, что бывало у него, могут подтвердить, что общение с Маршаком было для нас поэтической академией. И что поразительно: он вбивал вам в голову одни и те же примеры по много раз. Не потому, что забывал, кому что рассказывал; он помнил, но говорил:

— Я тебе много раз уже объ-

вод до кондиции. Он был нетерпелив, а работал терпеливо, долго. Не дай бог было прийти к нему в тот час, когда он назначил! Надо было прийти гораздо раньше, за час надо было прийти, потому что он не мог ждать. Когда он был уже и болен, и стар, и дряхл, я как-то обещал прийти к нему в семь часов вечера. Он начал звонить уже в четыре:

— Ты еще не вышел?

— Нет, не вышел.

— А как ты доберешься, ты не опоздаешь!

— Не опоздаю.

— А как ты поведешь?

— Ну, возьму такси и поеду.

— А вдруг не достанешь?

— Ну, возьму «левую» машину.

— А вдруг и «левой» не будет?

— Пешком пойду.

— Ну, и опоздаешь. Ты гляди, мне ведь теперь, как прежде, уже невозможно долго сидеть, после трех-четырех ночей мне трудно.

А я собирался уйти не позавчера, а то на часы поглядывал.

Он говорил:

— Мы ведь с тобой давно знакомы, видимся уже много лет. Тебе обязательно надо попробовать писать, я думаю, у тебя получится.

Как он запомнил меня с молодости, так до старости считал, что я не пишу. А я ему все, что выходило, дарил. Он говорил:

— Разве? Да, один какой-то рассказ я читал. Знаешь что, все-таки в живом исполнении это как-то лучше. Я, правда, не помню, о чем рассказ, но это мы еще поговорим с тобой, а ты почтай сейчас вот это стихотворение.

И я читал.

Я ПОМНЮ Маршака с тех пор, когда начинал работать в литературе после университета, когда был секретарем детского отдела в Ленинградском Госиздате. Я прошел всю его редакторскую маршакскую школу, когда в половине пятого утра он звонил по телефону:

— Вы спите? Вы знаете, такой странный человек автор, над рукописью которого мы сейчас работаем. Написал очень интересную вещь. Отдайте сегодня почтитать Александру Иосифовичу. И забыл взять. Я его пригласил к себе домой работать, он сидит у меня с девяти часов вечера, я

совал город, на котором лежит голова. «Фараон с седедой». На рисунке — стоит Радамес из «Аиды», держит рыбу...

И вдруг меня повысили в должности, и сделался я несчастным человеком. Меня перевели в детский отдел, там я уже занимался технической работой и писал протоколы. Я и сейчас не могу протоколы вести, а тогда даже не понимал, о чем говорил. А заседали часто, особенно когда Маршак приезжал, заседали до конца дня, все курили и все кричали: «Запишите в протокол точно!» А я стенографией не владел, писал двумя руками. Правой записывал, о чем говорили сорок минут назад, а левой выкариочивал то, о чем говорят сейчас, чтобы потом по крайней мере помнить порядок, кто за кем выступал. А мой начальник, заведующий отделом, все время присматривался к моим протоколам.

— Товарищ Андроников, вы успеваете фиксировать?

И один раз дошло до того, что я отстал на час пятьдесят три минуты. Спасения уже не было. Я совершенно забыл, кто говорил и о чем, и всем было видно, что я не песовал. И начальник негромко сказал мне:

— Товарищ Андроников, нам, вероятно, придется расстаться с вами.

Я обомлел. Стал мечтать, чтобы произошел пожар; ну, не такой, чтобы что-нибудь сгорело, но чтобы стали звонить, приехали бы пожарные, налили воды, а бы сказали, что мой протокол размок и я не могу его представить. Или чтобы кому-нибудь стало дурно, чтобы стал поминать, но не то чтобы умер, а чтобы открыли окно, стали бы его расстегивать, побежали бы вызывать «Скорую помощь», а я тем временем распустил бы ораторов, о чем они говорили, и попросил бы, хотя б в двух словах, изложить тезисы их выступлений, с тем чтобы потом, дома, чтобы забыть. Нет, не было никакого спасения.

И начальник пробормотал:

— Товарищ Андроников, вы представляете мне неудовлетворительные протоколы. Сегодня вы не записали то, что говорил Самуил Яковлевич, такие важные, принципиальные вещи.

Маршак вполослился:

— Неужели не записал?

Я понял, что пропал. Спасения не было. И спасение пришло. Оно пришло в голосе Алексея Николаевича Толстого, который громко говорил за

исшедший в Ленинградском Детиздате с писателями А. Толстым и С. Маршаком».

Тогдашнюю мою аудиторию составляли мои знакомые и знакомые моих знакомых. Меня можно было позвать в любой дом, где я еще не бывал, если был хоть какой-нибудь общий знакомый. Я шел и рассказывал. Работал, как журнал на свадьбе. Совершенно непонятно, почему я шел и почему рассказывал. Я не мог этого объяснить, но не испытывал потребности рассказывать, вела меня восторженность, и я говорил, говорил... Но рассказывая, набирал опыт. Рассказы были мои — как хотел, так и рассказывал. В одних домах рассказывал длиннее, в других — короче. В одних подпускал сатиры, а в других — мажорности, такой, понимаете, величавости...

Очень скоро выяснилось, что в кругах Толстого рассказ о его визите в Детгиз понравился. Говорили: «Алеша живой, ну совершенно живой, ему понравится, он такие вещи любит».

А в кругах Маршака напряглись:

— Да, это, конечно, похоже на Самуила Яковлевича, но Самуил Яковлевич не исчерпывается этим. Вы совершенно не показали, какую роль играет Самуил Яковлевич в развитии детской литературы.

Не хотите? Не надо! Пожалуйста.

Я так и делал. В кругах Толстого я того случая изображал, а в кругах Маршака не изображал. И всегда придерживался этого золотого правила, пока меня не позвали в Москву выступать. Я приехал, выступал в Союзе писателей и показывал Толстого. В этот момент отворилась дверь, вошел сам Толстой, сел на приступочку эстрады. Я показывал, как он смеется. А он смотрел на меня, смотрел в зал, опять на меня, опять в зал, вытирал лицо ладошкой и смеялся на длинном выдохе: «Хххааааа!» И все радовались, что двое смеются одинаково и что тот, кого показывают, так добродушно воспринимает эти изображения. И я быстро убедился, что, в общем, это ему нравится, потому что когда он жил в Москве и стоял у Радина на Малой Дмитровке, то вызывал меня к себе постоянно. Звонил по телефону и говорил: «Володя, я выезжаю к тебе в гости, возьми две бутылки дивного вина «Каберне», которое пахнет тараканами, и грузина Ираклия, который меня дивно изображает». По Москве пошел слух, что я — секретарь Толстого, на окладе, причем

я знал, что это так похоже, можно было не ездить, надо было его послать.

Оказывалось, он все эти годы был глубоко убежден в том, что я его непохоже показываю. Но поскольку все вокруг говорили: похоже, похоже, а он был человек веселый, добродушный, с опанейским, шутивым и хорошо ко мне относился, он не возражал. А на самом деле ему изображение его и не могло показаться похожим. Ниному не кажется похожим, даже теперь, когда есть такой совершенный аппарат, как магнитофон, каждый человек, в первый раз услышав свою запись, говорит: «Нет, это не я, у вас испортился аппарат». Вы говорите:

— Как испортился, вот вы же вместе с Иваном Филипповичем разговариваете?

— Да, Ивана Филипповича записали правильно, а меня неправильно.

Не может себя человек услышать правильно, потому что, когда он говорит, он слышит себя не только снаружи, но и через внутренние резонаторы. Он, вероятно, только лишь в ту минуту, слышит себя правильно, когда теряет сознание. Когда ему кажется, что он говорит не своим голосом. Вот тогда, очевидно, он и слышит свой голос правильно. Надо сказать, это сильно осложняло мою работу. Как относиться к эпиграммам, известно с древнегреческих времен. Как относиться к карикатурам, тоже хорошо известно: обиделся, но покажи, что очень доволен. Но как относиться к живому изображению, когда тебе вкладывают в уста речи, которых ты, может, и не говорил никогда, а может, говорил, но не помнишь когда: когда за тебя мимируют, за тебя жестикуют, ходят, изображают тебя, да еще непохоже, я представляю, как это сложно воспринимать. Я считаю, что моя большая удача, что мне удалось сохранить отношения со всеми персонажами, кроме одного, который обиделся не на сходство, а на текст, так и он теперь кричит:

— Ираклий Луарсабович, зачем вы переходите на другую сторону? Я так по вас соскучился!

И тот уже привык. Но все это стало возможным только при одном: тут надо было проявлять много тактики и стратегий — знать, когда показывать, где показывать, кому показывать, что передать и как будут трактовать, и поэтому я в одних домах показывал по-

Вечером Маршак позвонил мне по телефону. Я услышал: — Не могу ли я поговорить с гражданином Андрониковым?

Я чуть не упал. Боже, до чего я расстроился, огорчился, испугался, но сделал вид, что я ничего не понимаю. Говорю: — Что это ты, Самуил Яковлевич, сегодня со мной так официально?

— Во-первых говорите мне, пожалуйста, не ты, а вы. А кроме того, объясните, как я могу получить от вас сатисфакцию.

Как только я услышал про сатисфакцию, я кинулся на улицу Чкалова, где он жил. Но пока я бежал к нему, он совершенно про меня забыл. Когда я вкатился в его кабинет, он встал с кресла, обсыпанный перлом по жилету, протянул мне коротко руку и сказал:

— Здравствуй, голубчик, я без тебя соскучился.

И мы расцеловались. Вдруг он вспомнил и сказал:

— Я ведь тебя поцеловал, по ошибке. Тебя целовать не за что. Ты очень неважно повел себя в Детгизе. Зачем тебе понадобилось там меня изображать? Там ведь совсем далеко не все хорошие люди, только об этом никому не надо говорить. Ты, может быть, хотел выслужиться перед новым директором? Так имей в виду, этот директор ни тебя не уважает, ни меня не уважает, он себя не уважает. О тебе ужасно сказал: «Ваш Андроников — макак порядочный

Он был человек удивительный! Окончив чтение новых стихов, он начинал читать свои старые, потом замечательные переводы английских народных баллад, стихи Бернса, потом других поэтов, потом Пушкина. Читал глухим, сильным голосом, спокойно и просто, и обнажались тонкости, которых вы и не слышали, даже если знали стихотворение наизусть. Потом начинался разговор о литературе. Это было бесподобно прекрасно, потому что он разбирали вещи не вообще, а раскрывал нам смысл каждой строки, каждого поэтического приема. Все поэты, да и вообще все, кто бывал у него, могут подтвердить, что общение с Маршаком было для них поэтической академией. И что поразительно: он вбивал вам в голову одни и те же примеры по много раз. Не потому, что забывал, кому что рассказывал; он помнил, но говорил:

— Я тебе много раз уже объяснял, что от того, как составлены слова во фразе, зависит весь смысл. Какая прекрасная фраза «кровь с молоком» и какая отвратительная — «молоко с кровью». Ведь правда же?!

Он обожал Пушкина, он считал его эталоном чистоты, точности, красоты речи и говорил, что у Пушкина нет ни одного лишнего слова, даже эпитет у него не просто окрашивает соседнее слово, а несет смысловую нагрузку. Говорил:

— Возьми строчку «духовной жаждой томим», отними «духовной» — получается: жаждой томим, то есть пить хочется — совсем другое. А какие там дальше идут замечательные слова! «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...» Шестикрылый! Слово какое! Строчку загораживает! Дорогу загораживает! Образуется перепутье, веришь, что за этими крылами много дорог, что поэту надлежит выбрать какую-то одну, прямую. Замечательно! Ты знаешь, у Пушкина две строки, а послушай, как сказано:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...

«Хлещут» — слово какое незатасканное, сколько лет прошло, никак не удастся затаскать, потому что сказано очень точно. «Блещут» — «хлещут» — каждому слову в верхней строке отвечает слово в нижней, и какой молодец Пушкин, что у него небо сверху, а море снизу, а не наоборот! Мы ведь очень много врем, уверя-

ю, что выходящий, дарил. Он говорил:

— Разве? Да, один какой-то рассказ я читал. Знаешь что, все-таки в живом исполнении это как-то лучше. Я, правда, не помню, о чем рассказ, но это мы еще поговорим с тобой, а ты почитай сейчас вот это стихотворение.

И я читал.

Я помню Маршака с тех пор, когда начинал работать в литературе после университета, когда был секретарем детского отдела в Ленинградском Госиздате. Я прошел всю его редакторскую маршаковскую школу, когда в половине пятого утра он звонил по телефону:

— Вы спите? Вы знаете, такой странный человек автор, над рукописью которого мы сейчас работаем. Написал очень интересную вещь. Отдал сегодня почитать Александру Иосифовне. И забыл взять. Я его пригласил к себе домой работать, он сидит у меня с девяти часов вечера, я освободился десять минут назад — оказывается, он рукопись забыл. Если можно, поезжайте, пожалуйста, в издательство, найдите коменданта, откройте дверь, достаньте ключ от стола. Откройте ящик Александры Иосифовны и привезите рукопись ко мне.

Я говорю:

— Самуил Яковлевич, а нельзя утром?..

— Как вам не стыдно! Вы молодой человек. Только начинаете работать в литературе, и у вас нет времени. Вы спать хотите, а мы не хотим? Я, знаете, так замучен, что вчера заснул с колбасой в роту, и тем не менее я работаю. Пожалуйста, выполните это, если вы по-настоящему любите литературу.

Я мчусь к Дому книги, бужу коменданта. Открывают дверь, составляют акт. Привожу рукопись.

— Спасибо, Геркулесушка, спасибо, голубчик! А он, такой молодец, пока вы ездили, придумал совсем другую главу, и гораздо лучше!..

Я начинал работать в «Чиж» и «Еже» — в журналах, которые были созданы по инициативе Маршака. Но к тому времени, когда я поступил в издательство, Маршак руководил не «Ежом» и не «Чижом», а был уже, так сказать, ментором всей ленинградской детской литературы. Когда он приезжал в редакцию — все расступалось. «Маршак приехал!» — все торопилось к нему с рукописями, с рисунками, с вопросами. Он был как бы главный редактор.

Иногда приходилось полагаться на это золотое правило, пока меня не позвали в Москву выступать. Я приехал, выступал в Союзе писателей и показывал Толстого. В этот момент отворилась дверь, вошел сам Толстой, сел на приступочку эстрады. Я показывал, как он смеется. А он смотрел на меня, смотрел в зал, опять на меня, опять в зал, вытирал лицо ладошкой и смеялся на длинном выдохе: «Хххааааа!» И все радовались, что двое смеются одинаково и что тот, кого показывают, так доброжелательно воспринимает эти изображения. И я быстро убедился, что, в общем, это ему нравится, потому что когда он жил в Москве и стоял у Радина на Малой Дмитровке, то вызывал меня к себе постоянно. Звонил по телефону и говорил: «Володька, я выезжаю к тебе в гости, везу две бутылки дивного вина «Каберне», которое пахнет тараканами, и грузина Ираклия, который меня дивно изображает». По Москве пошел слух, что я — секретарь Толстого, на окладе, причем взял специально для изображения. Что это — просто причуда замечательного писателя, что ему нравится, когда его изображают. Я-то знал, что денег я не получаю; знал, что я не секретарь, но что ему нра-

И начался пробормотал:

— Товарищ Андроников, вы представляете мне неудовлетворительные протоколы. Сегодня вы не записали то, что говорил Самуил Яковлевич, такие важные, принципиальные вещи.

Маршак всполошился:

— Неужели не записал? Я понял, что пропал. Спасения не было. И спасение пришло. Оно пришло в голосе Алексея Николаевича Толстого, который громко говорил за дверью:

— Подождите меня здесь одну минуту, я сейчас вернусь. Я только поговорю с этим, с Маршаком. Куда вы пойдете, при чем здесь Иван Укусов? В его рассказе коза закрывала нечеловеческим голосом. Ну, идите, куда хотите. Я лично не буду бегать по коридорам и искать вас. Успеете меня здесь застать — приходите, а нет — так прощайте.

Отворил дверь, вошел в комнату, высокий, дородный, румяный с мороза, в высокой куньей шапке, в распахнутой шубе, снял очки, протер, помассировал ладошкой физиономию, надел очки и сказал:

— Маршак, милый мой, у вас здесь, как в приказной избе, кисло. Что вы преете, как бояре в Думе! Слушай, Самуил, заканчивай говорение и пойми меня хорошо. Я был в расчетном столе, где сидит эта бабелюха, высокого роста, бледная, тощая, сладострастная, интересная, при виде которой кавалеристы начинают рубить лозу. Слушай, кончай это дело, пойдй, скажи ей, я специально приехал сегодня за деньгами из Детского Села. У меня утро пропадает для работы.

Маршак сказал:

— Алексей Николаевич, у нас здесь идет очень важное, принципиальное заседание. Мы решаем перспективы развития детской литературы. Ты нам мешаешь. По-моему, ты дверью ошибся. Тут не сберегательная касса и не банк.

Они поговорили, поспорили, потом вдруг Толстой увидел меня:

рошо известно: обиделся, но покажи, что очень доволен. Но как относиться к живому изображению, когда тебе вкладывают в уста речи, которых ты, может, и не говорил никогда, а может, говорил, но не помнишь когда: когда за тебя мимируют, за тебя жестикулируют, ходят, изображают тебя, да еще непохоже, я представляю, как это сложно воспринимать. Я считаю, что моя большая удача, что мне удалось сохранить отношения со всеми персонажами, кроме одного, который обиделся не на сходство, а на текст, так и он теперь кричит:

— Ираклий Луарсабович, зачем вы переходите на другую сторону? Я так по вас соскучился!

И тот уже привык. Но все это стало возможным только при одном: тут надо было проявлять много тактики и стратегии — знать, когда показывать, где показывать, кому показывать, кто передаст и как будут трактовать, и поэтому я в одних домах показывал одному, в других по-другому. Но, конечно, я придерживался того правила в отношении Маршака, которое было принято еще в Ленинграде.

И Маршак уже жил в Москве, и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,

и Толстой жил в Москве,



Дом книги в Ленинграде (Невский проспект, 28). Здесь помещались Ленинградское отделение Детгиза, редакции журналов «Еж» и «Чиж».